**О. ЛЕКМАНОВ, М. СВЕРДЛОВ**

**Поэт и революция: Есенин в 1917 - 1918 годах**

 **Опубликовано в журнале:** [**«Вопросы литературы» 2006, №6**](http://magazines.russ.ru/voplit/2006/6/) ***Век минувший***

 Есенин — “приспособленец”?

 Если судить по хронике жизни Есенина за 1917—1918 годы, может создаться впечатление о поэте как о необычайно ловком “приспособленце”1.

До 27 февраля 1917 года в высказываниях и поступках Есенина не обнаруживается ни малейшего внешнего признака революционных настроений. Он активно задействован в мероприятиях праздничного дворцового ритуала: 1, 5 и 6 января присутствует на богослужениях в Феодоровском Государевом Соборе, 19 февраля выступает с чтением своих стихов в трапезной палате Федоровского городка перед высокопоставленными членами “Общества возрождения художественной России” (Летопись. С. 19, 20, 27). При этом ни в письмах, ни в устных беседах, зафиксированных мемуаристами, Есенин не выказывал никакого неудовольствия или протеста в связи со своей ролью обласканного Двором “поэта-самородка”.

О том, как эта роль воспринималась общественностью, лучше всего свидетельствуют два высказывания, прозвучавшие как раз накануне начала беспорядков — 22 и 23 февраля. Умильно описывая недавний завтрак в честь “Общества возрождения художественной Руси”, корреспондент официальных “Петроградских ведомостей” сообщает: “Песенники, гусляры и народный поэт Есенин, читавший свои произведения, опять мешали действительность со сказкой” (Летопись. С. 29). Тогда же Зинаида Гиппиус записывает в своем дневнике впечатления от заседания Религиозно-Философского Общества: “Особенно же противен был, вне программы, неожиданно прочтенный патриото-русопятский “псалом” Клюева <…> За ним ходит “архангел” в валенках”2. И консервативный журналист, и либеральная писательница отмечают в есенинском облике и складе смешение: первый — “действительности со сказкой”, вторая — елейно-“небесного” (“архангел”) с нелепо-“земным” (“валенки”); для первого “народный поэт” воплощает чудесное возвращение старины, для второй — черносотенный карнавал, вдвойне позорный на фоне тревожных февральских событий. “Бедная Россия. Да опомнись же!” — такими словами Гиппиус заключает пассаж о Клюеве и Есенине (Гиппиус. Т. 1. С. 446).

“Народный поэт” “опомнился” гораздо быстрее, чем можно было ожидать. На это ему понадобилось чуть больше двух недель.

Позже, как бы отвечая на вопрос, где он был во время Февральской революции, Есенин насочинит немало по-хлестаковски вдохновенных легенд. Так, в поэме “Анна Снегина” поэт заговорит от имени фронтовика-дезертира, измученного войной “за чей-то чужой интерес”:

Война мне всю душу изъела.

За чей-то чужой интерес

Стрелял я мне близкое тело

И грудью на брата лез.

Я понял, что я — игрушка,

В тылу же купцы да знать,

И, твердо простившись с пушками,

Решил лишь в стихах воевать.

Я бросил мою винтовку,

Купил себе “липу”, и вот

С такою-то подготовкой

Я встретил семнадцатый год.

Свобода взметнулась неистово.

И в розово-смрадном огне

Тогда над страною калифствовал

Керенский на белом коне.

Война “до конца”, “до победы”.

И ту же сермяжную рать

Прохвосты и дармоеды

Сгоняли на фронт умирать.

И все же не взял я шпагу…

Под грохот и рев мортир

Другую явил я отвагу –

Был первый в стране дезертир.

 О своем дезертирстве Есенин будет рассказывать неоднократно — с новыми и новыми подробностями. Один из таких рассказов записал Э. Герман: “Лавры воина его не прельщали. Не без кокетства излагал свою дезертирскую эпопею. Попал как-то в уличную облаву. Спасся бегством. Укрылся в дворовой уборной.

— Веришь ли: два часа там сидел”3. Другую версию передала в своих воспоминаниях С. Виноградская: “На Новую Землю он бежал дезертиром во времена Керенского. Рассказывал он о жизни своей там, в избе с земляным полом, о борьбе за существование и о борьбе с большими прожорливыми птицами, которые забирались в комнату и уничтожали все запасы пищи и воды <…> Больше всего и запомнилось описание этих птиц, — больших, беспокойных, сильных птиц. И сам Есенин, похожий на белую нежную птицу, словно вырастал, когда характерным движением рук описывал их”4.

На самом деле ни на Новой Земле, ни даже в уборной Есенин от фронта не спасался — по той причине, что на передовую его никто не посылал. Дезертиром же если и был, то далеко не “первым”, без всякого риска и самым естественным образом. Единственный факт, на котором поэт мог основать свой “возвышающий обман”5, — это предписание явиться в Могилев, отданное ему полковником Ломаном, но отнюдь не в наказание за ненаписанную оду: скорее всего, наоборот — Есенин был отправлен в Ставку вслед за императором, незадолго до этого выехавшим туда. С началом февральских событий необходимость в командировке сама собой отпала. “Ратника”, ввиду сокращения штата, перевели в школу прапорщиков с отменным аттестатом; на прапорщика он благоразумно предпочел не учиться.

Если Есенин от чего-то и скрывался, так это от самой Февральской революции. “Возвращаться в Петербург я побоялся, — позже рассказывал он Иванову-Разумнику. — В Невке меня, как Распутина, не утопили бы, но под горячую руку, да на радостях, расквасить мне физиономию любители нашлись бы. Пришлось сигнуть в кусты: я уехал в Константиново. Переждав там недели две, я рискнул показаться в Петербурге и в Царском Селе. Ничего, обошлось, слава Богу, благополучно”6.

Но вот через две недели бывший царскосельский “певец” возвращается в Петроград. И что же? Он сразу становится в ряды истовых сторонников революции. Вспоминая о тогдашних событиях, Рюрик Ивнев писал в открытом письме Есенину: “Помнишь, мы встретились на Невском, через несколько дней после февральской революции. Ты шел с Клюевым и еще с каким-то поэтом. Набросились на меня будто пьяные, широкочубые, страшные. Кололись злыми словами. Клюев шипел: “Наше время пришло”.

Я спросил: “Сережа, что с тобой?”

Ты засмеялся. В голубых глазах твоих прыгали бесенята. Говорил что-то злое, а украдкой жал руку”7.

В воспоминаниях, написанных в шестидесятые годы, Ивнев заставил Есенина оправдываться и все валить на Клюева (репрессированного в тридцатые годы): “Первым ко мне подошел Орешин. Лицо его было темным и злобным. Я его никогда таким не видел.

— Что, не нравится тебе, что ли?

Клюев, с которым у нас были дружеские отношения, добавил:

— Наше времечко пришло.

 Не понимая, в чем дело, я взглянул на Есенина, стоявшего в стороне. Он подошел и стал около меня. Глаза его щурились и улыбались <…>

Через несколько дней я встретил Есенина одного и спросил, что означал тот “маскарад”, как я мысленно окрестил недавнюю встречу. Есенин махнул рукой и засмеялся.

— А ты испугался?

— Да испугался, но только за тебя!

Есенин лукаво улыбнулся.

— Ишь как поворачиваешь дело.

— Тут нечего поворачивать, — ответил я. — Меня испугало то, что тебя как будто подменили.

— Не обращай внимания. Это все Клюев. Он внушил нам, что теперь настало “крестьянское царство” и что с дворянчиками нам не по пути. Видишь ли, это он всех городских поэтов называет дворянчиками.

— Уж не мнит ли он себя новым Пугачевым?

— Кто его знает, у него все так перекручено, что сам черт ногу сломит”8.

Чем настойчивее Ивнев в своих поздних воспоминаниях выгораживает Есенина, тем яснее, кто больше всех напугал мемуариста — тогда, в марте 1917 года. Уж конечно это был не вкрадчивый Клюев, а именно Есенин, которого за каких-то две недели “будто подменили”: совсем недавно еще был “Лелем”, “архангелом в валенках” — и вдруг совсем другой “маскарад”, чуть ли не с кистенем. Упоминание Пугачева в связи с Клюевым тоже, видимо, маскирует реакцию Ивнева на резкую смену есенинской роли. Ведь как раз Есенин, начиная с марта 1917 года, будет настойчиво добиваться, чтобы его воспринимали в бунтарском ореоле. Это усилие чувствуется не только в стихах (“Отчарь”: “Слышен волховский звон / И Буслаев разгул”), но даже и в “мелочах” — когда, например, он заканчивает пасхальное поздравление А. Ширяевцу многозначительной цитатой из его давнего стихотворения: “С красным звоном, дорогой баюн Жигулей и Волги”9 или когда в шуточном инскрипте на сборнике “Скифы”, подаренном Е. Пониковской, невзначай напоминает о Стеньке Разине (“Стенькиной молве” — Есенин. Т. 4. С. 253).

Среди поэтов-современников вряд ли кто-либо мог соперничать с Есениным в умении молниеносно реагировать на изменения политического климата. Поэту требуется буквально несколько дней после возвращения в Петроград, чтобы освоить новое амплуа — певца революции. В письме к Андрею Белому Иванов-Разумник отмечает разительную перемену в поведении Есенина и Клюева: “Оба — в восторге, работают, пишут, выступают на митингах”10. В этот период не только выступления поэтов на митингах, но и само их творчество теснейшим образом связано с партией эсеров. Уже в марте Есенин стал завсегдатаем “Общества распространения эсеровской литературы” и редакции эсеровской газеты “Дело народа”. К концу месяца в этом издании успело появиться есенинское стихотворение “Наша вера не погасла…” — по всем приметам программное. Действительно ли поэт написал его в 1915 году (как было указано в публикации) или использовал свой излюбленный трюк с подменой даты — это не имеет решающего значения. В любом случае поэт разом убил двух зайцев: во-первых, отчетливо продекларировал свою революционность; во-вторых, намекнул, что революционной линии придерживается уже давно. При чтении возникает впечатление, что смена курса совершается в самом стихотворении — от строфы к строфе. Начинается оно вполне привычным параллелизмом “святое — природное”, подчеркнутым рифмой “псалмы — холмы”:

Наша вера не погасла,

Святы песни и псалмы.

Льется солнечное масло

На зеленые холмы.

 Но с каждой строкой все слышнее в стихотворении “красный звон”. Не отрекаясь прямо от прежней темы, поэт сначала расшатывает ее (“Не одна ведет нас к раю / Богомольная тропа”), а затем подменяет революционными лозунгами. Сквозь метафорический туман в них несомненно угадываются и присяга “новому свету”, и проклятье старому миру (“Те палаты — казематы / Да железный звон цепей”), и готовность к героическому самопожертвованию (“Я пойду по той дороге / Буйну голову сложить”).

Вопрос о датировке первых есенинских малых поэм — “Товарища” и “Певущего зова” — тоже не может быть решен с полной определенностью. Но в любом случае важно, что сам автор относит время их создания к марту-апрелю 1917 года11 — значит, по крайней мере, хотел сдвинуть их как можно ближе к февральскому рубежу. Расчет это был или порыв, но Есенин явно стремился быстрее откликнуться на Февраль, быть среди первых — может быть, и вовсе первым поэтом революции.

Но больше всего в весенних поэмах удивляет даже не то, как скоро Есенин откликался на революционные события, а то, как стремительно и радикально он перекраивал свою поэтику. Мало того, что в “Товарище” поэт спешно взял на вооружение злободневное “чужое” слово: “товарищ”, “простой рабочий”, “марсельеза”, “равенство и труд”, он еще и оттолкнулся от привычного “есенинского” слова — от хорошо освоенного лексического материала, отработанных приемов, песенности и мягкого лиризма, уже полюбившихся чита­телям.

Вспомним, до революции в стихах Есенина не было ни полета “степной кобылицы”, ни порывов к Китеж-граду. Стремиться было не к чему, потому что Бог и так присутствовал в нищих буднях деревни. Божественное в прежних стихах Есенина было всегда рядом, ощутимое в домашнем, родном: “в каждом страннике убогом” мог скрываться “помазуемый Богом”, в каждом нищем — пытающий “людей в любови” Господь. “Крылья херувима” прятались в елях, Иисус мерещился “под пеньком”, “между сосен, между елок, меж берез кудрявых бус”, “пречистая Матерь” виделась идущей меж облаков такого близкого неба.

И что же? За месяц-полтора все изменилось почти до неузнаваемости. В “Товарище” неслучайно с такой настойчивостью форсируется резкая приставка “вз” (“**вз**махнули”, “**вз**метнулся”, “за **вз**махом **вз**мах”, “все **вз**лет и **вз**лет”): это знак, что старый есенинский мир “почивающей тишины” **вз**орван. Эмоциональная **вз**винченность глаголов (один громче другого: “валы” — “ревут”, “глаза” — “горят”), насильственность метафор (“Ломает страх / Свой крепкий зуб”; “В бездонный рот / Бежит родник”, “И тянется к надежде / Бескровная рука”; “И пыжится бедою / Седая тишина”), чехарда размеров (сменяющихся четыре раза), судорожные связки (“но вот”, “и вот”, “но вдруг”) — таковы признаки новой поэтики Есенина, рождающейся на обломках былого гармонического единства.

В “Товарище” Есенин пробует ораторский голос. Но роль революционного поэта требовала большего — пророческого “гласа”. И вот уже в “Певущем зове” в ход идет библейская патетика: перекрикивающие друг друга обращения (“Радуйтесь!”; “Хвалите Бога!”; “Сгинь ты, бнглийское юдо…”; “Опомнитесь!”) — при шестнадцати восклицательных знаках на четырнадцать строф. Противоречия Есенина не смущали. С одинаковым пафосом он объявил о смерти Христа, его погребении на Марсовом поле (в “Товарище”) и о новом Рождестве (в “Певущем зове”): “Земля предстала / Новой купели!”; “В мужичьих яслях / Родилось пламя / К миру всего мира!”. Есенин готов был изрекать противоположные вещи: “Слушайте: / Больше нет воскресенья!” (в “Товарище”) или “Но знайте, / Спящие глубоко: / Она загорелась, / Звезда Востока!” (в “Певущем зове”) — главное, чтобы как можно мощнее был резонанс.

Есенин умел добиваться своего: по крайней мере, от дружественной ему критики он вскоре услышал именно те слова, которые хотел услышать. Иванов-Разумник подал пример, торжественно провозгласив: весенние поэмы “явились в дни революции *единственным* подлинным проявлением народного духа в поэзии…”; “Да, *еще в первые дни и часы революции* говорил поэт о том, как “пал, сраженный пулей, младенец Иисус…”” (Есенин. Т. 2. С. 300). Затем уже будут повторять на все лады: “*Только один Есенин* заметил в февральские дни, что произошла не “великая бескровная революция”, а началось время темное и трагическое…” (В. Левин12); он “провидец и провозвестник революции” (И. Майоров; Летопись. С. 129); его творения — “скрижали Великой Русской Революции” (З. Бухарова; Летопись. С. 97). Поэма “Товарищ”, в исполнении автора или профессиональных чтецов, станет непременным “гвоздем” революционных концертов и поэтических вечеров, наряду с “Двенадцатью” Блока и “Левым маршем” Маяковского13.

 На Октябрьскую революцию Есенин отозвался еще быстрее и громче, чем на Февральскую. Резонанс от есенинских поэм, написанных на рубеже 1917–1918 годов, был тем сильнее, что почти все крупные поэты встретили приход к власти большевиков растерянным, настороженным или прямо враждебным молчанием. Даже тогдашний наставник и вдохновитель “крестьянского баяна”14 Иванов-Разумник был возмущен первыми проявлениями большевицкой власти: “…смертная казнь свободного слова — уже началась… Диктатура одной партии, “железная власть”, террор — уже начались, и не могут не продолжаться”15. Есенина же октябрьские события только еще сильнее вдохновили и раззадорили.

Как и в феврале, для него было важно не только определиться — теперь уже “всецело на стороне Октября” (Есенин. Т. 7 (1). С. 20), — но и сделать это как можно скорее. Современники, например, З. Гиппиус, видели поэта в передних рядах “побежавших <…> за колесницей победителей”, среди “первеньких, тепленьких” (Гиппиус. Т. 2. С. 60)16. Однако и этого Есенину было мало: он не хотел быть всего лишь “одним из”. В тогдашнем есенинском хвастовстве (“Блок и я — первые пошли с большевиками!”17) — чувствовался особый азарт: всех опередить, взобраться выше всех, прогреметь на весь мир.

Действительно, есенинское “грехопадение <…> в левое крыло” (Л. Никулин; ЛЖР. С. 189) совершалось с величайшим шумом. В те послеоктябрьские дни, когда большинство писателей затаилось (“Все скрываются. Все нелегальны” — Гиппиус. Т. 2. С. 62), Есенин был нарасхват — как на эстраде, так и в печати18. Он без устали носится по клубам и заводам — с речами и стихами. 22 ноября поэт устраивает авторский вечер в зале Тенишевского училища, 3 декабря объявлено о его выступлении на утреннике в пользу Петроградской организации социалистов-революционеров, 14 декабря — на вечере памяти декабристов, 24 декабря — на литературно-музыкальных вечерах, организованных партией левых эсеров; тогда же, в декабре Есенин участвует в концерте-митинге на заводе Речкина19. Устные выступления должны были утвердить “значительность *голоса поэта Есенина* в громах событий” (В. Чернявский; Воспоминания. С. 217).

Но, конечно, основная ставка делалась на выступления в печати — и эта ставка оправдалась в полной мере: видимо, именно Есенину удалось написать первую поэму в честь Октября. На этот раз поэт приветствовал революцию не так декларативно и прямолинейно, как в феврале: в произведениях, написанных на рубеже 1917–1918 годов, нет ни газетных лозунгов вроде “Железное / Слово: / “Рре-эс-пу-у-ублика!””, ни прозрачных намеков на политические события (как в “Отчаре”: “Февральской метелью / Ревешь ты во мне”). И все же достаточно сравнить произведения, написанные до и после большевистского переворота, — “Пришествие” (октябрь 1917) и “Преображение” (ноябрь 1917) — чтобы убедиться, насколько октябрьские события изменили направление есенинского творчества.

В “Пришествии” особенно сильно заявлена тема предательства. Поэт взывает здесь к Матери-Руси, оплакивая новые мучения ее сына — Христа:

Воззри же на нивы,

На сжатый овес, —

Под снежною ивой

Упал твой Христос!

Опять его Вои

Стегают плетьми

И бьют головою

О выступы тьмы…

Следующий его призыв — к апостолам:

О други, где вы?

Уж близок срок.

Темно ты, чрево,

И крест высок.

Но три раза отрекается Петр, и на третий раз в нем изобличается Иуда:

Вот гор воитель

Ощупал мглу.

Христа рачитель

Сидит в углу.

“Я видел: с Ним он

Нам сеял мрак!”

“Нет, я не Симон…

Простой рыбак”.

Вздохнула плесень,

И снег потух…

То третью песню

Пропел петух.

. . . . . . . . . . . .

Симоне, Петр…

Где ты? Приди.

Вздрогнули ветлы:

“Там, впереди!”

 Симоне, Петр…

Где ты? Зову!

Шепчется кто-то:

“Кричи в синеву!”

Крикнул — и громко

Вздыбился мрак.

Вышел с котомкой

Рыжий рыбак.

“Друг… Ты откуда?”

“Шел за тобой…”

“Кто ты?” — “Иуда!” —

Шамкнул прибой.

Рухнули гнезда

Облачных риз.

Ласточки-звезды

Канули вниз.

 Иванов-Разумник позже будет толковать эти строки как иносказательное свидетельство о ходе революции: “И снова “рыжий Иуда целует Христа”; снова спят ученики — все мы, попустительством своим восемь месяцев предававшие революцию “воинам первосвященника”; снова “отрицается” Симон Петр <…> И под тяжелыми ударами рабов первосвященника падает Народ, падает революция на своем тяжком пути <…> революция, преданная рабами “справа”, губится учениками “слева“” (Летопись. С. 73). Вряд ли Есенин писал в своей поэме о “левых” и “правых”, но, уж во всяком случае, предупреждал: революция в опасности!

Как же в следующей поэме, “Преображении”, “провидец революции” отозвался на захват власти большевиками? О предательстве и вероломстве здесь не сказано ни слова, образы Петра и Иуды отброшены за ненадобностью. Зато в ход идут другие библейские аллюзии — например, “Содом и Гоморра”:

Грозно гремит твой гром,

Чудится плеск крыл.

Новый Содом

Сжигает Егудиил.

Но твердо, не глядя назад,

По ниве вод

Новый из красных врат

Выходит Лот.

Истолковать эту аллегорию нетрудно: Содом — старый, прогнивший мир; Егудиил — воплощение необходимого террора; Лот, выходящий из “красных врат”, — новый человек, преображенный в революционном огне. Нетрудно и подыскать аналогию к есенинским Содому и Лоту; в четвертой и пятой строфах “Преображения” поэт, вольно или невольно, пере­ложил на язык ветхозаветных мифов лозунги “Интернацио­нала”:

Весь мир насилья мы разрушим

До основанья, а затем

Мы наш, мы новый мир построим:

Кто был ничем, тот станет всем.

И еще: прежние поэмы хоть и весьма свободно обращались с библейскими образами, все же до кощунства не доходили. Характерно, что первые строки, оскорбившие многих верующих, появились именно после Октября — в зачине “Преображения”:

Облаки лают,

Ревет златозубая высь…

Пою и взываю:

Господи, отелись!

Далее оценки критиков разделились. Мнение большинства выразил аноним из “Воскресных новостей” (21 апреля 1918 года), объявив Есенина расчетливым богохульником и литературным хулиганом: “Некий озорник из газеты “Знамя труда” воспользовался декретом народных комиссаров об отделении церкви от государства весьма своеобразно.

Раз церковь от государства изъяли и за кощунство и богохульство в каталажку не посадят — значит с самим Богом можно обращаться как с трактирной “шестеркой”” (Летопись. С. 112). Возражая разгневанной публике, Иванов-Разумник указывал на глубокие мифологические корни есенинских образов: “Вот, кстати, тема для дешевых лавров: Бог — корова! <…> Многие, видно, ничего еще не слыхали о мировых религиозных символах, о “корове” в космогонии индуизма, о Ведах и Пуранах…” (Есенин. Т. 2. С. 327).

Кто был ближе к правде в этом споре? Трудно сказать. И все же, согласно вызывающему доверие свидетельству П. Оре­шина, для самого поэта было гораздо важнее потрясти читателей, чем тонко отослать их к Ведам и Пуранам. Вот какой диалог, состоявшийся осенью 1917 года, приводит Орешин в своих воспоминаниях:

“…— А знаешь… мы еще и Блоку и Белому загнем салазки! Я вот на днях написал такое стихотворение, что и сам не понимаю, что оно такое! Читал Разумнику, говорит — здурово, а я… Ну, вот хоть убей, ничего не понимаю!

— А ну-ка…

<…> Есенин <…> слегка отодвинулся от меня в глубину широкого кожаного дивана и наивыразительнейше прочитал одно четверостишие почти шепотом <…>

И вдруг громко, сверкая глазами:

— Ты понимаешь: господи, отелись! Да нет, ты пойми хорошенько: го-спо-ди, о-те-лись!.. Понял? Клюеву и даже Блоку так никогда не сказать… Ну?

Мне оставалось только согласиться, возражать было нечем. Все козыри были в руках Есенина, а он стоял передо мной, засунув руки в карманы брюк, и хохотал без голоса, всем своим существом <…> Я совершенно искренне сказал ему, что этот образ, “господи, отелись”, мне тоже не совсем понятен, но тем не менее, если перевести все это на крестьянский язык, то тут говорится о каком-то вселенском или  мировом урожае, размножении или еще что-то в этом же   роде. Есенин хлопнул себя по коленке и весело рассме-
ялся.

— Другие говорят то же! А только я, вот убей меня бог, ничего тут не понимаю… <…>

— А знаешь, — сказал он, после того как разговор об отелившемся господе был кончен, — во мне… понимаешь ли, есть, сидит эдакий озорник! Ты знаешь, я к богу хорошо относился, и вот… Но ведь и все хорошие поэты тоже… Например, Пушкин… Что?” (Воспоминания. С. 265–266, 268).

Все споры о “Господи, отелись!” разрешила следующая поэма Есенина — “Инония”, которую он задумал и начал писать еще в конце 1917 года. В ней поэт уже запел в унисон первым ленинским декретам. По Федору Степуну, и в жизнестроительном творчестве большевиков было что-то библей­ское, только вывернутое наизнанку: “Монументальность, с которою неистовый Ленин, в назидание капиталистической Европе и на горе крестьянской России, принялся за созидание коммунистического общества, сравнима разве только с сотворением мира, как оно рассказано в книге Бытия.

День за днем низвергал он на взбаламученную революцией темную Россию свое библейское: “Да будет так” <…>

Да не будет Бога, да не будет церкви, да будет коммунизм”20. Вот и Есенин в “Инонии” провозглашает кощунственное “Да будет так”, открыто издеваясь над религиозными символами. Так его революционный путь, начавшийся с торжественного призыва: “Хвалите Бога!” (“Певущий зов”), увенчался не менее торжественным богохульством:

Тело, Христово тело,

Выплевываю изо рта.

. . . . . . . . . . . . . . . .

Ныне ж бури воловьим голосом

Я кричу, сняв с Христа штаны…

 Если, славя Февраль, Есенин еще вполне по-христиански связал свою “веру” с “любовью” (“Певущий зов”):

Не губить пришли мы в мире,

А любить и верить! —

то к Октябрю он пришел с антихристианским утверждением “веры” в “силу”, очень точно передающим самосознание новой власти:

Новый на кобыле

Едет к миру Спас.

Наша вера — в силе.

Наша правда — в нас!

Есенин и в дальнейшем не раз демонстрировал умение действовать и писать “по ситуации”. Например, и месяца не прошло после опубликования декрета о перенесении столицы в Москву (15 марта 1918 года), как поэт уже вновь стал москвичом. Позже, в “Автобиографии” 1923 года он пояснит мотивы своего переезда — как почти всегда, не без лукавства: “Вместе с советской властью покинул Петроград” (Есенин. Т. 7 (1). С. 13).

Другой пример — поэма “Иорданская голубица”. Интригует расхождение в авторских датировках этой поэмы. Если Есенин написал “Иорданскую голубицу” 20–23 июня 1918 года (согласно датировке в сборнике “Сельский часослов”), тогда можно только удивиться его дару предвиденья, если же верна дата “июль 1918” (в “Известиях Рязанского губернского совета рабочих и крестьянских депутатов”), то поражает другое — способность поэта быстро ориентироваться в вихре событий. Ведь, как известно, 6 и 7 июля большевиками был подавлен мятеж левых эсеров, с которыми Есенину долгое время было по пути, закрыты левоэсеровские газеты, в которых поэт печатался. Вот в каком контексте невольно воспринимается “Иорданская голубица” с ее знаменитыми строками:

Небо — как колокол,

Месяц — язык,

Мать моя родина,

Я — большевик.

 Эту декларацию автор демонстративно опубликовал именно в официальной советской печати (уже в августе 1918 года). Столь резкий жест не остался незамеченным. ““Отрок с полей коловратных” Есенин громко “возопил”: “Мать моя родина, я — большевик”, — язвительно писал один из критиков (С. Ев­генов), — и перепорхнул в литературное приложение “Известий ЦИКа”, а оттуда и в пролетарские издания” (Есенин. Т. 2. С. 339). А ведь еще в начале 1918 года поэт спешил записаться в эсеровскую боевую дружину; с марта 1917 года он печатался исключительно в эсеровских изданиях — “Дело народа”, “Знамя труда”, “Знамя борьбы”, “Голос трудового крестьянства”, “Земля и воля”, “Наш путь”, “Знамя” (весной 1918 года Иванов-Разумник подарил поэту свою книгу с надписью: “До­рогому Сергею Александровичу Есенину на память о годе сов­местной борьбы” — Летопись. С. 103). Так легко отречься от тойпартии, с которой больше года был теснейшим образом связан, — у многих тогда это вызвало возмущение или отвращение.

Логика литературной борьбы

О чем свидетельствуют все эти “смещения” и метаморфозы Есенина после Февральской и Октябрьской революций? Только ли о “канареечности” (З. Гиппиус — цит. по: Летопись. С. 108) в соединении с расчетливостью и беспринципностью? Подобные оценки есенинского творчества в 1917 и особенно 1918 годах были весьма нередки: его обвиняли в том, что он стремится непременно “связать себя с победоносцами” (Е. Замятин), стать “одописцем революции и панегиристом “сильной власти”” (В. Ховин; Летопись. С. 102, 149). Но уже после смерти поэта самым убедительным его адвокатом неожиданно выступил Владислав Ходасевич.

“В действительности таким перевертнем Есенин не был”, — считает Ходасевич; поэт “не двурушничал, не страховал свою личную карьеру…”21. По мысли мемуариста, Есенин был как раз весьма последователен и честен: и слова, и дела его определялись мужицкой “правдой”. Именно крестьянским мифом была продиктована политическая тактика поэта с ее кажущейся переменчивостью: “ему просто было безразлично, откуда пойдет революция, сверху или снизу. Он знал, что в послед­нюю минуту примкнет к тем, кто подожжет *Россию*; ждал, что из этого пламени фениксом, жаром-птицею, возлетит мужицкая *Русь*”; в любых революционных перипетиях он оказывался именно “там, где “крайнее”, с теми, у кого в руках, как ему казалось, больше горючего материала. Программные различия были ему неважны, да, вероятно, и мало известны. Революция была для него лишь прологом гораздо более значительных событий. Эсеры (безразлично, правые или левые), как позже большевики, были для него теми, кто расчищает путь мужику и кого этот мужик в свое время одинаково сметет прочь”22. Столь же мнимыми представляются Ходасевичу и внезапные изменения в мировоззрении Есенина: как до, так и после революции тот придерживался своей, “мужицкой”, религии — по сути своей противоречащей христианской вере. Вот как Ходасевич пытается реконструировать ее: “…в полном согласии с основными началами есенинской веры, мы можем расшифровать его псевдохристианскую терминологию и получим следующее:

Приснодева = земле = корове = Руси мужицкой.

Бог-отец = небу = истине.

Христос = сыну неба и земли = урожаю = телку = воплощению небесной истины = Руси грядущей”. Поэта никак нельзя обвинить в отступничестве, поскольку он никогда и не был христианином, а всегда “обращался к своему языческому богу — с верой и благочестием” и по большей части был верен “религиозной правде”; “имею в виду религию Есенина”, — поясняет в скобках мемуарист23.

Так Ходасевич пытается восстановить справедливость в отношении Есенина. Можно ли согласиться с его концепцией? И да, и нет. Когда мемуарист защищает поэта от упреков в “двурушничестве”, он более чем убедителен: с замечательной точностью он прослеживает “сдвиги” и “скачки” Есенина, показывая, что тот последовательно держался “крайностей”, смещался каждый раз “левее”. Сложнее с “верой”, с “чаемой новой правдой”. Повторим, христианская образность есенинских революционных поэм не обманывает Ходасевича: “Говорить о *христианстве* Есенина было бы рискованно. У него христианство — не содержание, а форма, и употребление христианской терминологии приближается к литературному приему”24. Но возникает вопрос: а не является ли “формой” и не “приближается” ли “к литературному приему” также и есенинский языческий, мужицкий миф?

Об этом многое, наверное, могли бы поведать филологи “формальной школы”, вооружившись своими излюбленными терминами — такими, как “мотивировка”, “искусство как прием”, “обострение материала”. Увы, формалисты явно недооценивали “нутряного” поэта25: кто только не вдохновлял их на смелые концепции, вплоть до есенинского эпигона Василия Казина, но никак не сам Есенин. Б. Эйхенбаум охотно приписывал даже Л. Толстому парадоксальные “мотивировки”: толстовское стремление к народности будто бы объясняется “борьбой за литературную власть”, требующей “перехватить у народников материал”, а духовные и жизненные “искания” “нужны Толстому не сами по себе, а чтобы создать для себя нужную писательскую атмосферу…”26 Эти схемы были хороши своим научным остроумием или провокативностью, но Л. Толстого почти не задевали; казалось, еще немного — и ученый договорится до того, что и предсмертное бегство писателя из Ясной Поляны — тоже ход в литературной борьбе. Шкловский, в свою очередь, сводил к формализму творчество В. Розанова (для которого “прием <…> важен, а не мысли”) или Андрея Белого (которому антропософия нужна как “предлог создания приема”)27 — и опять-таки не без натяжек. Есенина же тогдашняя филологическая наука “проморгала”. “Крестьянский поэт” предстает у формалистов обреченным лишь на “голую эмоцию”28; в суждениях о есенинской “литературной личности” опоязовцам подчас изменяет даже их фирменный стиль: “хрупкая, богомольная, нежная и восторженная душа”29. А ведь именно Есенину парадоксы опоязовцев были бы как раз впору, в его творчестве и биографии они могли бы найти замечательное — и вовсе не тривиальное — подтверждение своевременности “формального метода”.

“Практика” Есенина и “теория” формалистов имеют общие исторические корни. В пореволюционные годы, как литература, так и филология играли по правилам “qui pro quo”: поэтическая поза и политическая позиция, расчетливые литературные приемы и выстраданные идеи, постоянно меняясь местами, порой становились неразличимыми. В то время решительно никому нельзя было верить на слово. Например, А. Н. Толстой обличал “эстетов, формовщиков, стилистов, красочников”30 — притом что его сила была как раз в сноровке “формовщика” и “стилиста”. Поэтому саморазоблачение отрицательного героя толстовского романа: “Россия — это “что”, а мы — это “как””, — вполне могло восприниматься вместо авторского кредо, а призывный вопрос положительного героя: “В Россию, в русский народ веришь?” — маскирующим это кредо приемом. Есенин, с его “нутряным” чутьем и стремительной интуицией, не мог не уловить эту тенденцию — “экспансии”, “империализации” приема31, выдвижения “как” за счет “что”.

В своей “Автобиографии” 1923 года Есенин написал: “работал с эсерами не как партийный, а как поэт” (Есенин. Т. 7(1). С. 13). Можно было бы заострить эту фразу: в работе с эсерами и в своей революционной деятельности Есенин решал поэтические задачи — и только. Революция была необходима ему как поэту — для “борьбы за литературную власть” и создания “нужной писательской атмосферы”; “революционность” он использовал как прием; мечту о мужицком царстве — как “предлог”, “мотивировку”.

В 1917—1918 годах литературная стратегия Есенина была тесно связано с так называемыми “скифами”. Организатором этой группы, стремительно выдвинувшейся на ведущие позиции в литературе пореволюционного времени, был Иванов-Разумник. Именно ему многие приписывали тогда безграничное влияние на Есенина, самому же поэту отводили пассивную роль — ведомого, совращаемого, поющего с чужого голоса. Отчасти это мнение выражено и в мемуарной статье Ходасевича, убежденного в идейной несамостоятельности главной революционной поэмы Есенина: ““Инонию” он писал лишь в смысле некоторых литературных приемов по Библии. По существу же вернее было сказать не “по Библии”, а “по Иванову-Разумнику””32. Гораздо резче высказывался, откликаясь на “скифство” Есенина, один из прежних его опекунов С. Городецкий (в “Кавказском слове”, Тифлис): “Больно видеть, как на <…> Есенине повторяется судьба <И. С.> Никитина, талант которого также замучили те же петербургские умники <…> Глазам не веришь, как обработали мальца” (Летопись. С. 153). За писательскую судьбу “самородка” тогда всерьез опасались, что выразилось, например, в реплике И. Евдоки-
мова: “…Заласкан Ивановым-Разумником…” (Летопись.
С. 151).

Действительно, поэт некоторое время мирился с тем, что критик занимает место рулевого. Казалось, ни один ход Есенина не делался без сопровождения Иванова-Разумника: тот толковал и классифицировал образы есенинских поэм, одни строки затушевывал, а другие, наоборот, подхватывал, превращая в громкие лозунги. Для организатора “Скифов” “крестьянский Боян” был важным (но все же не главным) звеном весьма амбициозного проекта. В замысле Иванова-Разумника был не только размах, но и симметрическая стройность. “…Сталкиваются две России, два мира, две революции, — писал критик в статье, опубликованной во втором выпуске “Скифов” (декабрь 1917 года). — <…> Два завета, два мира, две России. Из глубины народной поднялись обе эти России, и пропасть между ними; одна — Россия прошлого, другая — Россия будущего; Град Старый и Град Новый”. За “Старый мир” цепляется “густая толпа злобящихся” (Летопись. С. 72) — в том числе и большинство литераторов; “скифы” же радостно приветствуют “Новый мир”. В свою очередь, в “скифских” рядах, по Иванову-Разумнику, тоже намечалась идеальная симметрия. Выступая на вечере поэтов в мае 1918 года, он провозгласил идею группы, творящей идеальный союз интеллигенции и народа: среди принявших революцию “есть такие, которые пришли к нам с вершин — Блок, Белый, и есть такие, которые пришли из низин, как Клюев, Есенин, Орешин” (Летопись. С. 124).

Итак, по схеме Иванова-Разумника, Есенину отводилось второе место — после Клюева — в колонне, идущей “из низин” навстречу Белому и Блоку; себя же критик видел в роли толмача, посредника между “низинами” и “вершинами”. Но у Есенина были свои расчеты.

Прежде всего, революция и “скифство” давали ему возможность успешной борьбы с петербургской литературной элитой, тесно связанной с либеральной оппозицией царскому режиму. Уже после Февраля, по словам Г. Иванова, “произошла забавная метаморфоза: всесильная оппозиция, свергнув монархию, превратившись из оппозиции во власть, неожиданно стала бессильной. “Соль земли русской” вдруг потеряла вкус… До революции, чтобы “выгнать из литературы” любого “отступника”, — достаточно было двух-трех телефонных звонков “папы” Милюкова кому следует из редакционного кабинета “Речи”. Дальше машина “общественного мнения” работала уже сама — автоматически и беспощадно. Но на Милюкова-министра и на всех остальных недавних вершителей литературных судеб, превратившихся в сановников “великой, бескровной”, — Есенину, как говорится, было “плевать с высокого дерева””33. Революция нарушила сложившуюся литературную иерархию — для Есенина это был шанс решительного прорыва, выдвижения на первые позиции.

И он перешел в наступление, в полной мере воспользовавшись ресурсами “скифов”. Его стихи атаковали читателей со страниц эсеровских газет, журналов и “скифских” альманахов, звучали со сцены на организованных эсерами литературных вечерах. Свидетельством готовящегося выступления против “питерских литераторов” является известное письмо Ширяевцу от 24 июня 1917 года: “Об отношениях их к нам судить нечего, они совсем с нами разные, и мне кажется, что сидят гораздо мельче нашей крестьянской купницы. Мы ведь скифы, приявшие глазами Андрея Рублева Византию и писания Козьмы Индикоплова с поверием наших бабок, что земля на трех китах стоит, а они все романцы, брат, все западники, им нужна Америка, а нам в Жигулях песня да костер Стеньки Разина.

Тут о “нравится” говорить не приходится, а приходится натягивать свои подлинней голенища да забродить в их пруд поглубже и мутить, мутить до тех пор, пока они, как рыбы, не высунут свои носы и не разглядят тебя, что это “Ты”. Им все нравится подстриженное, ровное и чистое, а тут вот возьмешь им да кинешь с плеч свою вихрастую голову, и боже мой, как их легко взбаламутить.

Конечно, не будь этой игры, весь успех нашего народнического движенья был бы скучен, и мы, пожалуй, легко бы сошлись с ними <…> Да, брат, сближение наше с ними невозможно. Ведь даже самый лучший из них, Белинский, говоря о Кольцове, писал “мы”, “самоучка”, “низший слой” и др., а эти еще дурее <…> С ними нужно не сближаться, а обтесывать, как какую-нибудь плоскую доску, и выводить на ней узоры, какие тебе хочется” (Есенин. Т. 6. С. 95–96).

В этом письме, при всем неприятии “литературных генералов”, еще не идет речь о том, чтобы бросить им прямой вызов; приходится пока что вести окольную “игру” с подкопами: “мутить” “пруд”, “обтесывать” их, как “доску”, и “выводить на ней узоры”. Но уже слышатся в словах поэта угрозы намеком: пока что он бросает в них лишь свою “вихрастую голову”, но не запылал бы от нее “костер Стеньки Разина”. Куда громче звучат эти угрозы в стихотворении “О Русь, взмахни крылами…”, завершающем цикл “Под отчим кровом” во втором выпуске “Скифов”34. Здесь Есенин провозглашает свой новый поэтический манифест — в ответ на клюевские строки из первых “Скифов” (“Оттого в глазах моих просинь…”, 1916). Клюев вводил образ Есенина полемически — в пику петербургским интеллигентам, напуганным пророчествами о “грядущем хаме”:

Ждали хама, глупца непотребного,

В спинжаке, с кулаками в арбуз, —

Даль повыслала отрока вербного

С голоском слаще девичьих бус.

Он поведал про сумерки карие,

Про стога, про отжиночный сноп;

Зашипели газеты: “Татария!

И Есенин — поэт-юдофоб!”

О, бездушное книжное мелево,

Ворон ты, я же тундровый гусь!

Осеняет Словесное дерево

Избяную, дремучую Русь!

В есенинском же стихотворении “маска” поэта неожиданно оказывается гораздо ближе к физиономии “грядущего хама”, чем к лику сладкого “отрока вербного”. Конечно, в образе, представленном Есениным, нет той карикатурности, что в клюевском стихотворении, зато есть нечто гораздо более пугаю­щее, чем “кулаки в арбуз”. Лирический герой дан по контрасту к смиренному Клюеву — воинственным, таящим угрозу:

Монашьи мудр и ласков,

Он весь в резьбе молвы,

И тихо сходит пасха

С бескудрой головы.

А там, за взгорьем смолым

Иду, тропу тая,

Кудрявый и веселый,

Такой разбойный я.

Долга, крута дорога,

Несчетны склоны гор;

Но даже с тайной Бога

Веду я тайно спор.

Сшибаю камнем месяц

И на немую дрожь

Бросаю, в небо свесясь,

Из голенища нож.

Разумеется, направление этих боевых действий было исключительно литературным, но зато готовились они всерьез. Камень “разбойного” поэта нацелился не столько на месяц, а нож — не столько в небо, сколько в “петербургских литераторов”, монополизировавших месяц, небо и “тайну Бога”. За символами стоят имена, которые Есенин должен “сшибить”, — чтобы заместить “иными именами”:

Сокройся, сгинь ты, племя

Смердящих снов и дум!

На каменное темя

Несем мы звездный шум.

Довольно гнить и ноять,

И славить взлетом гнусь —

Уж смыла, стерла деготь

Воспрянувшая Русь.

Уж повела крылами

Ее немая крепь!

С иными именами

Встает иная степь.

Заметим резкое расхождение стратегического плана Есенина с симметрическими построениями Иванова-Разумника: в “иной степи” не находится место ни Белому, ни Блоку, да и Клюев оставлен в прошлом, рядом с его “старшим братом” Кольцовым. С самого Есенина, третьего по счету, и должен начаться новый мир “скифов” и “воспрянувшей Руси”, остальные уже пойдут за ним:

За мной незримым роем

Идет кольцо других,

И далеко по селам

Звенит их бойкий стих.

При этом любопытно совпадение метафорических рядов в есенинском стихотворном манифесте и в опоязовских трудах о “литературной эволюции”. “Разбойное” нападение Есенина на “племя смердящих снов и дум” (то есть сгнивший прежний “гегемон”, отжившую свое “старшую школу”35) живо напоминает о военных метафорах формалистов, не признававших “мира” ни в литературе, ни в науке. Формалисты не доверяли прямой линии — наследованию и преемственности, приравнивая их к деградации; продуктивным им представлялись только сложные маневры — ходы “вкось”, пути “подземные и боковые”. Есенин также идет к победе непрямой дорогой: “иду, тропу тая”. “Мы подошли, подходим и звякнем кольцом”, — такую надпись делает поэт на экземпляре первых “Скифов”, подаренном Е. Пониковской (Летопись. С. 50). Главное, что поэт “подошел, подходит” по тропе войны: так “младшая линия врывается на место старшей”36. Ю. Тынянов называл выступления Пушкина против поздних карамзинистов ““гражданской” войной”, а попытку посредничества — попыткой примирить враждующие армии37. В XVIII веке, согласно Тынянову, ведется “грандиозная и жестокая борьба за формы”, для ХХ века характерна “стремительность смен”, “жестокость борьбы и быстрота падений”38. Вот и Есенин, жестоко борясь против петербургских литераторов, одновременно готовится к “гражданской войне” в своем, “скифском” лагере.

Вспомним, как в марте 1917 года напугала Ивнева клюевская фраза: “Наше время пришло”. Уже летом для Есенина она обрела силу литературного лозунга (“С иными имена-
ми / Встает иная степь”). Тогда же этот лозунг прозвучал и в предисловии к первым “Скифам”, написанном Ивановым-Разумником: “То, о чем еще недавно мы могли лишь в мечтах молчаливых, затаенных мечтах думать — стало к осуществлению как властная, всеобщая задача дня. К самым заветным целям мы сразу, неукротимым движением продвинулись на полет стрелы, на прямой удар. Наше время настало…”39 В чем разница двух манифестов? Мечты критика были о новом строе жизни, о новой вере, мечты поэта — о новой литературе, с ним, Есениным, во главе.

В январе 1918 года Есенин решил, что эти мечты пора осуществлять. Когда он провозгласил в “Инонии”: “Время мое приспело…”, это было равносильно заявлению: свершилась не только та революция, о которой так долго говорили большевики, но и другая, поэтическая революция!

Формальный разрыв дипломатических отношений с дореволюционной литературной элитой произошел по инициативе противной стороны 21 января 1918 года — на литературном вечере, организованном газетой “Утро России” в пользу политического Красного Креста. Атмосфера в зале Тенишевского училища была тревожной и негодующей. Слишком свежи еще были события начала января: разгон Учредительного собрания, убийство в Мариинской больнице его депутатов Ф. Ко­кошкина и А. Шингарева. На этом фоне как прямой вызов со стороны “скифов” была воспринята опубликованная накануне статья А. Блока “Интеллигенция и революция” с ее призывом слушать музыку революции. Отсюда и тон выступлений. По сообщению газеты “Новый вечерний час” (22 января 1918), Д. Мережковский “говорил о том, что он выступает с тяжелым чувством, когда как бы невозможно говорить, а в особенности читать стихи. Ведь это мерное слово, а мерность в настоящее время мы потеряли. Слово бессильно, когда наступило озверение <…> З.Н. Гиппиус прочла ряд своих стихотворений, которыми была ею встречена мартовская революция и заклеймлен октябрьский переворот. Поэтесса не ждет ничего хорошего от этого переворота:

И скоро в старый хлев ты будешь загнан палкой,

Народ, не уважающий святынь, —

с болью пророчествует она”40. Среди собравшихся находился и Есенин — единственный из “скифов”; с его слов Блок зафиксировал в своем дневнике события, случившиеся в тот день: “Звонил Есенин, рассказывал о вчерашнем “утре России” в Тенишевском зале. Гизетти и толпа кричали по адресу его, А. Белого и моему: “изменники”. Не подают руки. Кадеты и Мережковские злятся на меня страшно. Статья (“Интеллигенция и революция”. — *О.Л., М.С.*) “искренняя, но “нельзя” простить”. — Господа, вы никогда не знали России и никогда ее не любили! Правда глаза колет”41.

А вот что З. Гиппиус написала С. Ремизовой-Довгелло на следующий день после своего выступления: “Или я даром не подала руки Есенину?”42 Всем было ясно, что недаром: жест З. Гиппиус, не подавшей руки Есенину, обеими сторонами расценивался как объявление войны.

“Скифы” “с вершин” тяжело переживали январские события. “Было (в январе и феврале) такое напряжение, — вспоминает Блок в письме к Белому от 9 апреля 1918 года, — что я начинал слышать сильный шум внутри и кругом себя и ощущать частую физическую дрожь”43. Мучается сомнениями и Иванов-Разумник (“Все эти дни провел под впечатлением зверского убийства Шингарева и Кокошкина. Подлинно — “Демоны вышли из адской норы” не только в войне, но и в революции” — Переписка. С. 151), и Белый (“Как все это больно, трудно, антиномично”; “Смерть Ф.Ф. К<окошки>на убила меня: три дня я не мог прийти в себя” — Переписка. С. 149, 153). Есенина же совершенно не смущали ни судьба Учредительного собрания и его депутатов, ни бойкот, объявленный ему прежними покровителями, ни разрыв отношений с ними. Если Белому и Блоку больно было рвать со “своими”, то Есенин, “чужак” и “захватчик”, как будто ждал, что ему не подадут руки, — ждал как знака к открытой схватке.

И он перешел в наступление в том же январе, дописав свою “Инонию”. Летом 1917 года поэт угрожал еще с некоторого расстояния (“полета стрелы”, “прямого удара”): месяцу — камнем, небу — ножом, Богу — “тайным спором”. В “Инонии” угроза совсем близка — вот-вот она реализуется, минута — и дело доходит до рукопашной, в ход пойдут не только руки, но и зубы:

Подыму свои руки к месяцу,

Раскушу его, как орех.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Протянусь до незримого города,

Млечный прокушу покров.

Даже Богу я выщиплю бороду

Оскалом моих зубов.

“Кусая” символы прежней культуры и намеком грозя “перекусать” ее заслуженных представителей, Есенин возвещает о приходе новой власти. Власти “скифов”? Не совсем так.

Помимо войны с “внешним” противником, Есенин затевает в “Инонии” “гражданскую войну”. Проклятия Китежу и Радонежу, раздающиеся в “Инонии” (“Проклинаю я дыханье Китежа”; “Проклинаю тебя я, Радонеж”), — это точно рассчитанный рикошет, целью которого был как раз Клюев44. Однако, как и летом 1917 года, столкновение внутри “скифского” стана, только уже гораздо более ожесточенное, было спровоцировано не есенинским, а клюевским стихотворением — в этот раз “Елушкой-сестрицей”, появившейся в декабре 1917 года на страницах “Ежемесячного журнала”:

Елушка-сестрица,

Верба-голубица,

Я пришел до вас:

Белый цвет Сережа,

С Китоврасом схожий,

Разлюбил мой сказ!

Он пришелец дальний,

Серафим опальный,

Руки — свитки крыл.

Как к причастью звоны,

Мамины иконы,

Я его любил.

И в дали предвечной,

Светлый, трехвенечный,

Мной провиден он.

Пусть я не красивый,

Хворый и плешивый,

Но душа, как сон.

. . . . . . . . . . . . . . .

Тяжко, светик, тяжко!

Вся в крови рубашка…

Где ты, Углич мой?..

Жертва Годунова,

Я в глуши еловой

Восприму покой.

Буду в хвойной митре,

Убиенный Митрий,

Почивать, забыт…

Грянет час вселенский,

И Собор Успенский

Сказку приютит.

Все в этой вязи мифологических и исторических сравнений обижало “героя” этого стихотворения. Даже в уподоблении, вроде бы комплиментарном, “Сережи” могучему и мудрому человеку-коню Китоврасу Есенину виделся намек на свое подчиненное положение: значит, роль “премудрого Соломона” Клюев отводил себе (вспомним “Сказание о том, как был взят Китоврас Соломоном” в древнерусском “Изборнике”); видимо, раздражала младшего поэта и гомоэротическая подоплека клюевских эпитетов. “Я больше знаю его, чем Вы, — писал Есенин Иванову-Разумнику в декабре 1917 года, — и знаю, что заставило написать его “прекраснейшему” и “белый свет Сережа, с Китоврасом схожий”” (Есенин. Т. 6. С. 99). В черновиках этого письма Есенин идет дальше, истолковывая другую аналогию — с “Митрием” и Годуновым — в самом негативном для себя смысле: “Ведь в этом стихотворении Годунов, от которого ему так тяжко, есть никто иной <так!>, как <…> сей же Китоврас, и <…> знает это <…> только пишущий он да читающий я” (Есенин. Т. 6. С. 437). Комментируя “Елушку-сестрицу”, Есенин как будто подхватывает метафору и начинает состязаться с Клюевым в загадывании и разгадывании загадок, как Китоврас с Соломоном в древнерусской легенде45. Своей “Инонией” Есенин отвечает Клюеву, “загадочно” соединившему в “Елушке-сестрице” “город”, “саван” и “псалтырь”. Клюев пророчествовал и указывал Есенину свой путь к свету:

Дух ли это Славы,

Город златоглавый,

Савана ли плеск?

Только шире, шире

Белизна псалтири —

Нестерпимый блеск.

В ответ Есенин косвенно объявил Клюева лжепророком, а истинным пророком — себя. В “Инонии” он последовательно отрицает все клюевское. Вместо “города златоглавого” (Китежа) и “плеска” савана он обещает град “иной” и новую жизнь:

Проклинаю я дыханье Китежа

И все лощины его дорог.

Я хочу, чтоб на бездонном вытяже

Мы воздвигли себе чертог.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Обещаю вам град Инонию,

Где живет Божество живых!

Грозя Московии, с ее “часословом”, младший поэт заодно отменяет и клюевский “псалтырь”:

Плачь и рыдай, Московия!

Новый пришел Индикоплов.

Все молитвы в твоем часослове я

Проклюю моим клювом слов.

И, наконец, “Инония”, отказавшись от источаемого псалтырью “нестерпимого блеска”, указывает на новый источник света:

Уведу твой народ от упования,

Дам ему веру и мощь,

Чтобы плугом он в зори ранние

Распахивал с солнцем нощь.

Чтобы поле его словесное

Выращало ульями злак,

Чтобы зерна под крышей небесною

Озлащали, как пчелы, мрак.

Атака Есенина была направлена не только против Клюева — это была попытка смещения “старших” в лагере победителей. Есенин больше не мог мириться со вторыми ролями. Тем более его взбесили настойчивые указания на первенство Клюева в статьях Белого и Иванова-Разумника, опубликованных во вторых “Скифах” — почти одновременно с “Елушкой-сестрицей”. “Клюев — первый народный поэт наш, первый, открывающий нам подлинные глубины духа народного <…>  “Песнь Солнценосца” (стихотворение Клюева. — *О.Л., М.С.*) по глубине захвата далеко превосходит все написанное до сих пор о русской революции”, — пишет Иванов-Разумник46. А Белый подхватывает: “И если народный поэт говорит от лица ему вскрывшейся Правды Народной, то прекрасен Народ, приподнявший огромную правду о Солнце над миром — в час грома…”47. Ответ Есенина Иванову-Разумнику: “Уж очень мне понравилась, с прибавлением *не*, клюевская “Песнь Солнценосца” и хвалебные оды ей с бездарной “Красной песней”.

Штемпель Ваш “первый глубинный народный поэт”, который Вы приложили к Клюеву из достижений его “Песнь Солнценосца”, обязывает меня не появляться в третьих “Скифах”. Ибо то, что вы сочли с Андреем Белым за верх совершенства, я счел только за мышиный писк”. (Есенин. Т. 6. С. 99).

“Младший” поэт ревниво ловит каждое слово Белого и Иванова-Разумника, в каждой невинной обмолвке видит окрик “старших”: знай свое место! В частности, Есенин дает понять, что от него не укрылась подоплека логической связки из статьи Иванова-Разумника “Две России” (“и другой поэт (Есенин. — *О.Л., М.С.*) созвучно первому (Клюеву. — *О.Л., М.С.*) повторяет…”48). Автор “Инонии” так точно угадывает оценку своего творчества “скифским” критиком, как будто читал одно из писем Иванова-Разумника Белому: “Растет мальчик (и откуда что берется); пройдя через большие страдания, быть может, и до Клюева дорастет” (Переписка. С. 138). В своем письме Есенин с яростью оспаривает значение Клюева, оговариваясь: “Говорю Вам это не из ущемления “первенством” Солнценосца и моим “созвучно вторит”…” (Есенин. Т. 6. С. 100). Но гораздо труднее поверить этой оговорке, чем той гиперболе, с которой начинается “Инония”. Это гипербола самого себя:

Не устрашуся гибели,

Ни копий, ни стрел дождей, —

Так говорит по Библии

Пророк Есенин Сергей.

Не “мы <…> подходим”, а “я пришел”, настало не “наше время”, а “мое” — вот под каким знаменем отныне ведет Есенин свою литературную борьбу.

Стараниями Иванова-Разумника, замечательного дипломата, в стане “скифов” был восстановлен мир. Но это была только видимость мира — скорее уж тактическое перемирие: до поры до времени Есенину было просто невыгодно рвать отношения с Ивановым-Разумником. Но после левоэсеров­ского мятежа и закрытия контролируемых левыми эсерами изданий (начало июля 1918 года) поэта уже ничто не связывало со “скифами”.

Для старших “скифов” июльские события были той чертой, за которой наступило разочарование и отрезвление. “Я одичал и не чувствую политики окончательно”, — записывает в дневнике Блок49. “Я сейчас, как улитка, спрятался в свою скорлупу”, — пишет в августе 1918 года Иванову-Разумнику Андрей Белый, а позже воспоминает о том времени: “Впервые сериозный перелом от розовой романтики в отношении к революции к исканию чисто реалистического самоопределения в ней <…> пишу Рейснеру письмо с отказом от профессуры в Социалистической Академии; перестаю писать в газетах” (Переписка. С. 162). Для Есенина же, напротив, это было радостное время отрыва и взлета: благодаря “скифам” он получил ускорение (и в творчестве, и в литературной карьере), пора было устремиться дальше, к очередным рубежам — но уже без “скифов”.

Цель Есенина — стать “не одним из”, а первым. Поэтому Блок и Белый для него — не столько наставники, сколько соперники. “…Мы еще и Блоку и Белому загнем салазки!” — в этих словах, адресованных крестьянскому поэту П. Орешину в 1917 году, еще чувствуется ставка на мужицкую “купницу” (Воспоминания. С. 265). В 1918 году Есенин начнет состязаться с учителями уже на свой страх и риск, ревниво прикидывая, обошел ли он, например, Блока или еще нет. По воспоминаниям В. Чернявского, “с Блоком в то время (ноябрь 1917 — март 1918 года. — *О.Л., М.С.*) было у него (Есенина. — *О.Л., М.С.*) внутреннее расхождение <…> В холоде, который он почувствовал к Блоку и в Блоке, замешалась, думается мне, прямая ревность к праву на голос “первого русского поэта” в период Октября, а в скифской плеяде таковым был именно Блок. Ни “Скифы”, ни “Двенадцать”, казалось, не тронули Сергея” (Воспоминания. С. 221).

“Тягой, стремлением, гонкой к славе, к званию “первого русского поэта”, к “догнать и перегнать”, к “перескочить и переплюнуть” были одержимы многие поэты того времени, — считает Ю. Анненков. — <…> Как-то я спросил Есенина, на какого черта нужен ему этот сомнительный и преждевременный чемпионат?

— По традиции, — ответил Есенин. — Читал у Пушкина “Я памятник себе воздвиг нерукотворный”?”50

Следовательно, вовсе не примитивным инстинктом самосохранения объяснялись неожиданные “политические” зигзаги в карьере Есенина, а высоким стремлением к литературному рекорду. Поэту было мало успеха, мало было даже славы — в качестве приза в поэтическом “чемпионате” ему непременно нужен был “памятник нерукотворный” — на века.

Вера в “динамический образ”

Современники Есенина в один голос говорят о радостной устремленности вдаль, бурном воодушевлении Есенина в 1917–1918 годах. Одним только стремлением “перескочить и переплюнуть” этого не объяснить, необходима еще и вера. Но верил Есенин не в мужицкое царство (это был лишь “предлог для создания приема”), а в “воскрешение слова”. Вот что заставляло Есенина рваться не только к первенству, но и к поэтическому совершенству.

Продолжим прерванную ранее цитату из гневного письма Есенина к Иванову-Разумнику: “Говорю Вам это не из ущемления “первенством” Солнценосца и моим “созвучно вторит”, а из истинной обиды за Слово, которое не золотится, а проклевывается из сердца самого себя птенцом…” (Есенин. Т. 6. С. 100). Поэт в данном случае не лжет и не играет: за “Слово” он действительно обижается не меньше, чем за свою репу­тацию.

Вспоминая разговоры Есенина в ту эпоху, И. Эренбург замечал: “В отличие от Клюева, он менял роли; говорил то об индоклаве, то о динамичности образа, то о скифстве; но не играть не мог (или не хотел)”51. В одном мемуарист был все же не прав: об индоклаве или скифстве говорил игрок, но о “динамичности образа” — фанатик. Прославляя революцию, поэт на самом деле прославлял “динамичность образа”; обещая перевернуть мир, он на самом деле обещал “сдвинуть”, “остранить” и тем самым “воскресить” слово. Даже мечты о народном счастье упираются в Слово:

Чтобы поле его словесное

Выращало ульями злак…

Настоящее Слово “не золотится”, как клюевское, “а проклевывается из сердца самого себя птенцом”, — настаивает Есенин; подобные метафоры вновь и вновь возникают в стихах, статьях, устных высказываниях поэта. В них, этих метафорах, чувствуется особое напряжение: автор “Инонии” всеми силами борется за “динамический образ”, “проклевывающийся”, “перерастающий себя”, преодолевая застывшее (“золотящееся”) слово. Интересно, что сходными образами, взятыми из Евангелия, воспользовался в своем ключевом стихотворении 1917 года “Путем зерна” еще один поэт, наконец нашедший себя, — Владислав Ходасевич:

Проходит сеятель по ровным бороздам,

Отец его и дед по тем же шли путям.

Сверкает золотом в его руке зерно,

Но в землю черную оно упасть должно.

И там, где червь слепой прокладывает ход,

Оно в заветный срок умрет и прорастет*.*

В очень важном для Есенина трактате “Ключи Марии”, написанном осенью 1918 года, он описывает русский орнамент и борется с орнаментальностью в поэзии. По Есенину, каждый элемент в русском орнаменте, каждая вещь в крестьянском обиходе есть знак устремления — вдаль: “Все наши коньки на крышах, петухи на ставнях, голуби на князьке крыльца, цветы на постельном и тельном белье вместе с полотенцами носят не простой характер узорочья, это великая значная эпопея исходу мира и назначению человека” (Есенин. Т. 5. С. 191). Обнаруживая “динамику” даже в узоре, Есенин тем сильнее порицает застывший узор в поэзии. Так поэт отталкивается не только от “изографа”52 Клюева, но и от собственной старой поэтики — узорчатой, орнаментальной.

Задача Есенина после Февраля — привести образ, слово в движение. Согласно иерархии образов, выстроенной в “Ключах Марии”, “заставочный” (статичный) образ соответствует старому миру, “ангелический” (“пробитие из <…> образа какого-нибудь окна” — Есенин. Т. 5. С. 205) — переходному периоду, “корабельный” же (движущийся, плывущий) — подлинно революционен. Революция должна помочь поэту уплыть на “корабельном” образе от “заставочного” — в новый мир как новый смысл. Именно об этой — словесной — революции Есенин и говорит все время — даже когда выступает на политическом митинге: “Революция… это ворон… ворон, которого мы выпускаем из своей головы… на разведку… Будущее больше…”53

Что же это за будущее? Куда должен долететь этот ворон? Об этом Есенин говорит сбивчиво и туманно: важно выпустить ворона слова, а уж он куда-нибудь долетит, важно сдвинуть образ — и он к чему-нибудь вывезет. Блок записывает за Есениным 3 января 1918 года (в период работы над “Инонией”): “Образ творчества: схватить, прокусить.

Налимы, видя отражение луны на льду, присасываются ко льду снизу и сосут: прососали, а луна убежала на небо. Налиму выплеснуться до луны.

Жадный окунь с плотвой: плотва во рту больше его ростом, он не может проглотить, она уж его тащит за собой, не он ее” (Воспоминания. С. 177). Вот так же в свой период “бури и натиска” (1917–1918 годы) Есенин “вгрызается” в слово, веря, что оно “доплеснет” его до луны, вытащит его к чему-то неведомому, лучшему.

1 См. заметку И. Трубецкой (“Новости дня”. 1918. № 16): “…Среди писателей многие решили приспособиться <…> В стан левых эсеров перекочевали <…>“поэты из народа” Клюев, Ширяевец, Есенин” (цит. по: Летопись жизни и творчества С.А. Есенина в 5 тт. Т. 2. 1917–1920. М.: ИМЛИ РАН, 2005. С. 111. В дальнейшем ссылки на это издание будут обозначаться в тексте — Летопись, с указанием страницы).

2 *Гиппиус З.* Дневники. Т. 1. М.: НПК “Интелвак”, 1999. С. 446. В дальнейшем ссылки на это издание будут обозначаться в тексте — Гиппиус, с указанием тома и страницы.

3 *Герман Э.Я.* Из книги о Есенине // С.А. Есенин. Материалы к биографии. М.: Историческое наследие, 1992. С. 173—174.

4 *Виноградская С.* Как жил Сергей Есенин. М.: Огонек, 1926. Б-ка “Огонек”. № 201. С. 10.

5 Так Э. Герман иронически обозначил есенинскую привычку приукрашивать или вовсе придумывать эпизоды своей биографии (*Гер­ман Э.Я.* Указ. соч. С. 176).

6 *Косман С*. Есенин в Царском Селе // Возрождение. Париж. 1973. № 240. С. 87.

7 *Ивнев Р.* Четыре выстрела в Есенина, Кусикова, Мариенгофа, Шершеневича. М.: Имажинисты, 1921. С. 8.

8 С.А. Есенин в воспоминаниях современников. В 2 тт. Т. 1. М.: Художественная литература, 1986. С. 329. В дальнейшем ссылки на это издание будут обозначаться в тексте — Воспоминания, с указанием страницы.

9 *Есенин С.* Полн. собр. соч. в 7 тт. Т. 6. Письма. М.: Наука — Голос, 1999. С. 93, 418. В дальнейшем ссылки на это издание будут обозначаться в тексте — Есенин, с указанием тома и страницы.

10 *Андрей Белый и Иванов-Разумник.* Переписка. СПб.: Atheneum, Феникс, 1998. С. 104. В дальнейшем ссылки на это издание будут обозначаться в тексте — Переписка, с указанием страницы.

11 В “Сельском часослове” и втором выпуске “Скифов”.

12 *Левин Вен.* Есенин в Америке // Русское зарубежье о Есенине. В 2 тт. Т. 1. М.: Инкон, 1993. С. 216. Курсив везде наш. — *О.Л., М.С*.

13 “Товарищ” “читали на всех эстрадах и во всех клубах чтецы и артисты, так же как и поэму “Двенадцать” Блока” (*Зайцев П.* // Литературная Россия. 1985. № 12. 12 апреля. С. 20).

14 Слова З. Бухаровой (Летопись. С. 97).

15 Литературная жизнь России 1920-х годов. События. Отзывы современников. Библиография. Т. 1. Часть 1. Москва и Петроград. 1917–1920 гг. М.: ИМЛИ РАН, 2005. С. 52. В дальнейшем ссылки на это издание будут обозначаться в тексте — ЛЖР, с указанием страницы.

16 З. Гиппиус упоминает Есенина в обоих своих списках писателей, согласившихся на сотрудничество с большевиками. Запись от 3 января 1918 года: “К ним (большевикам. — *О.Л., М.С*.), по сегодняшний день, перешли от “искусства”, кроме Иер. Ясинского, Серафимовича и московских футуристов, — поэты А. Блок, С. Есенин с Клюевым, худ. Петров-Водкин, Рюрик Ивнев”. В записи от 11 января 1918 года Гиппиус вновь упоминает Есенина, вновь в паре с Клюевым, со следующими комментариями: “Два поэта “из народа“, 1-й старше, друг Блока, какой-то сек­-тант, 2-й молодой парень, глупый, оба не без дарования” (Гиппиус.
Т. 2. С. 37, 61).

17 См.: В. Чернявский — Воспоминания. С. 223.

18 Подробнее о первоначальном неприятии Октября большинством модернистов см.: *Сегал Д.* “Сумерки свободы”: о некоторых темах русской ежедневной печати 1917–1918 гг. // Минувшее: Исторический альманах. 3. М.: Прогресс, Феникс, 1991.

19 См.: Летопись. Т. 2. С. 65, 68, 69, 75, 77.

20 *Степун Ф.* Бывшее и несбывшееся. СПб.: Алетейя, 1994. С. 456.

21 *Ходасевич В.* Собр. соч. в 4 тт. Т 4. Некрополь. Воспоминания. Письма. М.: Согласие, 1997. С. 131.

22 *Ходасевич В.* Указ. соч. С. 131.

23 Там же.С. 134–135.

24 Там же. С. 122.

25 *Тынянов Ю.* Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977. С. 171.

26 *Эйхенбаум Б.М.* “Мой временник”… Художественная проза и избранные статьи 20–30-х годов. СПб.: ИНАПРЕСС, 2001. С. 119, 89.

27 *Шкловский В.* Гамбургский счет. Статьи — воспоминания — эссе (1914—1933). М.: Советский писатель, 1990. С. 136, 227.

28 Формула Ю. Тынянова (*Тынянов Ю.Н.* Указ. соч. С. 170).

29 *Эйхенбаум Б.М.* Указ. соч. С. 575.

30 В романе “Егор Абозов”.

31 Термины Ю. Тынянова.

32 *Ходасевич В*. Указ. соч. С. 137.

33 *Иванов Г.* Собр. соч. в 4 тт. Т. 3. Мемуары. Литературная критика. М.: Согласие, 1994. С. 180–181.

34 Несмотря на то, что сам автор в наборном экземпляре “Голубени” помечает свое стихотворение 1916 годом, следует признать верной датировку, предложенную С. Субботиным (*Субботин С.* Есенин и Клюев (К истории творческих взаимоотношений) // О, Русь, взмахни крылами… Есенинский сборник. Вып. 1. М.: Наследие, 1994. С. 112–113) и комментаторами Полного собрания сочинений (Есенин. Т. 1. С. 521): “О Русь, взмахни крылами…” не могло быть написано раньше лета 1917 года.

35 См.: *Шкловский В*. Указ. соч. С. 121.

36 См.: *Шкловский В*. Указ. соч. С. 121.

37 *Тынянов Ю.Н.* Пушкин и его современники. М.: Наука, 1969. С. 70.

38 *Тынянов Ю.Н.* Поэтика. История литературы. Кино. С. 39, 169.

39 Скифы. Сборник 1. Пг., 1917. С. IX.

40 Цит. по: *Сегал Д.* Указ. соч. С. 160.

41 *Блок А*. Записные книжки. М.: Художественная литература, 1965. С. 385.

42 См.: Летопись. С. 86.

43 *Блок А*. Сочинения в 2 тт. Т. 2. М.: ГИХЛ, 1955. С. 728.

44 См.: *Субботин С.* Указ. соч. С. 110.

45 Так, Есенин связывает два образа клюевского стихотворения — Китовраса и Годунова; не “реализует” ли он таким образом сюжет древнерусского сказания? Ср.: “Однажды Соломон сказал Китоврасу: “Теперь я убедился, что сила твоя — как и человеческая, и не больше твоя сила нашей силы, ибо поймал я тебя”. И ответил ему Китоврас: “Царь, если хочешь узнать мою силу, сними с меня цепи и дай мне свой перстень с руки, тогда увидишь силу мою”. Соломон снял с него железную цепь и дал ему перстень. А он проглотил перстень, простер крыло свое, размахнулся и ударил Соломона, и забросил его на край земли обетованной. Узнали об этом мудрецы и книжники и разыскали Соломона” (пер. Г. Прохорова).

46 Скифы. Сборник 2. Пг., 1918. С. 1–2.

47 Там же. С. 10.

48 Там же. С. 223.

49 *Блок А*. Записные книжки. С. 415.

50 *Анненков Ю.П.* Дневник моих встреч: Цикл трагедий. М.: Вагриус, 2005. С. 163.

51 *Эренбург И*. Люди, годы, жизнь. Книга первая и вторая. М.: Советский писатель, 1961. С. 579.

52 “Только изограф, но не открыватель” (Есенин. Т. 6. С. 100).

53 *Ходасевич В.* Указ. соч. С. 131.